

Уречка



ТАТАРСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

АХАТ МУШИНСКИЙ

Ахат Мушинский
Иренка (сборник)

«Татарское книжное издательство»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)-4

Мушинский А. Х.

Иренка (сборник) / А. Х. Мушинский — «Татарское книжное издательство», 2019

ISBN 978-529-803780-8

Книга о любви и ненависти, дружбе и предательстве, о людях талантливых и не очень, о чёрном, белом и сером на одном жизненном полотне.

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)-4

ISBN 978-529-803780-8

© Мушинский А. Х., 2019
© Татарское книжное издательство, 2019

Содержание

Рассказы	6
Пути светлы	6
Иренка	14
Миссия	30
1	30
2	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Ахат Мушинский

Иренка

© Татарское книжное издательство, 2019

© Мушинский А. Х., 2019

Рассказы

Пути светлы

Новость облетела деревню быстрее ветра. В тот же день она и до бабы Кати донеслась, хотя и жила та на отшибе за озерцом в одиночестве. Весть была о том, что в районный центр приехал известный хирург-глазник на огромном автобусе (передвижной операционной) с десятком помощников.

Бабка взволновалась, поскольку была почти слепа. Возраст возрастом, а видеть-то хотелось. И уж совсем сон потеряла, когда через неделю узнала о возвращении из райцентра прозревшего деда Толкуши, бывшего печника, глаза которого застила «тёмная вода», по-научному – глаукома. Теперь он опять, как много лет назад, сиживал на лавочке у своего дома и демонстративно почитывал газеты.

На отшибе за озерцом баба Катя всё-таки не совсем в одиночестве жила. Через просёлочную дорогу напротив её двора с недавних пор обосновался в заброшенной насыпушке неизвестно откуда взявшийся одинокий жилец примерно сорока с лишком лет по имени Сабир. Это был угловатый, медлительный мужчина, но с руками, то есть умел держать в них и топор, и молоток... Не спеша, он со знанием дела вернул, казалось бы, мёртвую хибару к жизни, поправил забор, ворота, в которые загонял после еженедельных отлучек своего трёхногого коня – мотоцикл с коляской.

Соседка сперва ворчала, даже пару раз громко высказала своё недовольство по поводу шума и вони от его машины. Однажды он погазовал у дома, когда пришлось менять муфту стартера, но сразу понял свою ошибку и больше уж такое не повторял.

Как-то по осени заявила она к нему и с порога затребовала помощи: дым из её печи пошёл, видите ли, не в трубу, а в избу. Он откликнулся, ступил на половицы её дома, и уже на следующий день над озерцом в редком безветрии устремились ввысь два соседствующих белых столба.

Надо сказать, здесь всегда было ветрено. Ветер продувал деревню насквозь со стороны степи, начиная как раз с их дворов за озерцом. Поначалу Сабир наивно поставил на крыше флюгер в виде то ли дракона, то ли петуха, и он как встал клювом в сторону степи, так и замер навсегда.

Постепенно одинокие соседи на отшибе нашли общий язык, если это можно так сказать, – Сабир-то был редкостным молчуном. За него говорили его руки. Старухе он и половицы на крыльце переложил, и слив для стока дождевой воды наладил... Она, благодарная, в ответ запускала самовар и угощала его чаем с бубликами, которые он сам и привозил на своём мотоцикле. Пирогов она давно не пекла, поскольку к своим семидесяти почти совсем ослепла.

Зато тарахтела без умолку. Компенсировала, что ли? Обсуждала, предрекала, но больше вспоминала. Говорят же, глаза стариков назад смотрят.

А сосед слушал. Такого слушателя поискать. Правда, старуха порой, замолчав вдруг, тыкала его костистым перстом:

– Ты гдей-то?

В смысле: не уснул ли?

Нет, он слушал. И её, и себя... внутреннего. Какие-то свои давние разговоры, видимо, вставали в его памяти. Она раз-другой пыталась вывести его подноготную, но он только отмахивался: не интересно, мол, чего былое перемальвать!

В тот день соседа дома не было. Укатил куда-то с утра на своём драндулете. Тихо в его дворе. Ни молоток тебе не стукнет, ни петух спросонья не кукарекнет – какая живность!

и кошки-то у него не было. Зато она, «своими глазами» услышав, как шелестит газетой на завалинке под тёплым солнышком Толкуша, места себе не находила. Туда-сюда, туда-сюда... И курам дала внеочередную порцию пошла, и Пальму спустила с цепи погулять, и на колодец смоталась с одним ведёрком – в другой-то руке тросточка-посошок. А сама прислушивалась – не заверещит ли в степной дали мотоцикл: несущий твоего соседушку!

Насколько видели её глаза? Разве определишь в каких-нибудь известных долях-единицах! Сегодня вот на пути к Толкушкиному дому прорезался полуденный луч, а вчера – тьма-тьмущая без единого просвета. И что? Давно уж без глаз управлялась она в хозяйстве. Чего глядеть-то! Каждый шаг рассчитан годами жизни, любое движение взвешено навыком, все шорохи-шумы пойманы чутким ухом. Вон Пальма звякнула цепью, вон куры что-то всполошились – закудахтали в курятнике, захлопали крыльями, а вон застрекотал кузнечиком вдали мотоцикл...

Она выставилась за ворота, и как только запылённый с дороги сосед подошёл к ней поздороваться, позвала его вечером:

– Чайку попьём...

В ответ он спросил только:

– Что-то ты взволнованная какая-то, баб Катя... Случилось чего?

– Да нету, – ответила она и пошла по обыкновению с задранной головой накрывать стол.

Меню у неё всегда было одно и то же – варёная картошка, яйца, квашеная капуста и подсолнечное масло. Ну, конечно, чай с молоком, сахар, мёд, который она брала у местного пасечника. Остальное – колбаску или «консерву» какую – прихватывал в виде гостинца Сабир.

На этот раз, однако, посреди стола красовалась поллитровка водки под выдавшей виды этикеткой.

– Сколько лет выдержки? – пошутил гость, нарезая краковскую.

– Да нет, по рюмочке-другой можно же в кои веки, – оправдывалась хозяйка. – В прошлом году купила для печника, но обошлось. Уж и забыла о ей совсем.

В избе, несмотря на середину лета, было прохладно. В окнах занудно жужжали и бились о стёкла мухи. Прочие шумы сквозь бревенчатые стены пробиться не могли. Да и какие они могут быть в деревне? Троллейбусы-трамваи по просёлочным дорогам не ходят, ребятни тут, за озерцом, нет, разве что ворона каркнет.

Тихонько играло радио. Телевизор она перестала включать, только пыль машинально протирала с него. Было в избе удивительно чисто, опрятно, будто жила здесь молодая, глазастая баба.

Хозяйка подняла гранёную рюмку.

– Пилось бы да елось, – говаривал мой расписанный браком супруг, – да ишо не болелось. – Хозяйка в один приём опорожнила рюмку и пододвинула квашеную капусту гостю. Тот принялся за дело молча. Понятно, проголодался порядком.

– А сам заболел. Поджелудочная железа... – разматывала клубок воспоминаний хозяйка. – Повезли в город, там его и зарезали.

– Как зарезали? – поперхнулся гость.

– В больнице... На операционном столе и помер. Говорила ему: погодь, сама выхожу, настоями трав оздоровлю – нет, не поверил. – Она на минуту смолкла. – Давай по второй. Мой, помнится, сказывал: по одной нельзя – хромать будешь.

Мужчина взял бутылку, аккуратно разлил. Расправлялся с рюмкой он в два глотка, с расстановкой. Так же обстоятельно ел, тщательно хрумкая капустой, перемешанной горячей картошкой и политой подсолнечным маслом. Вскидывал свои дегтярно-чёрные глаза, уважительно внимал разглагольствованиям старухи.

– Мы с им ладно жили. Ещё до армии поженились. Совсем мальчонкой его я полюбила. А уж из армии вернулся бравым молодцем. Сапоги блестят, медали на груди и бляха на ремне

огнём полыхают. А уж умелец был... Кол забьёт – яблоня вырастет. Любо-дорого было с им на этом свете. Да вот ушёл. И сорока семи ведь не было. Вот как ты щас. – Баба Катя подтёрла побежавшую по щеке слезу кончиком платка, который с головы нипочём не стаскивала, зашарила по избе невидящими глазами, да запел тут на краю стола электрический самовар – отвлѣк... Бабка засуетилась, нащупала заварочный чайник, безошибочно залила кипятком, накрыла выдавшей вида тряпичной куклой в сарафане – пускай заваривается.

– Всяко-разно бывало, – продолжила она уже более спокойно. – И сладко, и... И вот дочку родили мы с им. Сейчас в городе. В научном институте робит. Хочу поехать очень к ей, внучек понячить, только вот... Сам же знашь, не вижу ни черта.

– Что же она сама не приедет?

– Не может.

– Поня-я-ятно.

– Сабирушка, дорогой... – Баба Катя как-то вся подобралась, выпрямилась. – Я ж те говорила, в райцентр врач знамый приехал, глазник. Вон Толкушу нашего уже зрячим сделал. Свози меня к ему. Може, и мне мои прежни глаза вернѣть?

– Когда? – не переставая жевать, спросил он.

– Завтра же, а чѣ тянуть! Вдруг не поспем, у нас таких, как я, поди, тыща.

Немногословен новый сосед у бабы Кати:

– Хорошо.

– Чтoб не припоздниться, надо бы поране.

– С твоим петухом и сыграю подъѣм.

– Ну, ты уж совсем! – вздохнула полной грудью баба Катя. Она знала, что сосед не откажет, однако всё равно волновалась – на кой-то день согласится ведь.

Уже ближе к полуночи вышла со двора за ворота, присела на пень от векового дуба, который лет сорок назад срезало молнией и который чуть было не раздавил её дом. С озера доносились хоры лягушек, со степи веяло сладко-горьким дыханием полыни. Сколько здесь, меж озером и степью, всего произошло! И родилась, и родила, и в негодность пришла. Раньше ведь газеты с такими мелкими буквами деду читала, а теперь на сельпе вывеску не прочесть. Какой вывеску! Саму избушку продмага по внутренней памяти только и найдѣшь. Зато нюх и слух обострились. Надо ж на старости лет!

– Не-е, жить можно! – назло напасти бросила во тьму баба Катя. Подняла глаза и уже про себя, не разжимая губ: «Только не поймѣшь, чисто ли небо над головой и что пророчат звѣзды к завтраму».

Ни свет ни заря баба Катя стала поглядывать в окошко на соседову насыпушку, вернее, прислушиваться – небрякнет ли щеколда на воротах, не взаржѣт ли разминочно железный конь, на котором она должна отправиться в поход за зрением. Всё ж таки очень хотела напоследок увидеть своих внучек в городе глазами своими. И готова была за ради того на любую операцию, на любую боль, хотя по жизни не терпела никаких врачебных вмешательств в Богом данное состояние её организма – помнила судьбу мужа. В Бога-то она, грешная, верить верила, но сдержанно. Гром грянет – перекрестится... А так... Являлась на Пасху и Рождество в церковку на другой стороне деревни, но в последние два года изменила праздничной привычке. Почуяла она какую-то несправедливость к своему быстротечному присутствию на земле. Нет, не возроптала на Всевышнего, просто непонятная обида закралась в душу. И истока этой обиды баба Катя не находила.

Железного коня она в то утро оседлала впервые. Впрочем, не оседлала, сосед усадил её в коляску.

Она сунула вдоль тесной люльки свои ревматические ноги, трость, положила на колени сумку с документами, кошельком, расчѣской, носовым платочком и – всё-таки! – крошечной в

полиэтиленовом пакете иконкой, оставшейся от матери, натянула колясочную искож-накидку, Сабир поправил, и они поехали.

Утро выдалось ясное, но ветренное. Молодое солнце светило ярко и с каждой минутой набирало мощь. Такое бывает в этой степи – вместе с начинающейся жарой всё сильнее поднимался ветер. Защитных стёкол на мотоцикле не было. Сабир, как мотогощик, надел дорожные очки, баба Катя зажмурилась и прикрыла глаза ладонью. Память рисовала ей картины юности, как они с отцом тряслись по этой вот дороге в райцентр на телеге, запряжённой смирной и пятнистой, как корова, конягой за какими-то удобрениями для колхозной пашни, которая раскинулась на другой от их дома стороне деревни, за церковью и клубом. Так же трясло, так же жарило солнце, и напирал ветер.

Частенько отправлялась она в степь и с матерью. Блуждали вне троп и дорог, собирая лечебные корешки, травы – полынь, ковыль, девясил... Дома провяливали, просушивали в тени, затем обрабатывали... Аптечными лекарствами сроду не пользовались.

Здесь, в пушистых ковылях, восьмиклассница Катя в первый раз поцеловалась. С одноклассником – будущим мужем своим. Да уж, поцеловалась! – ткнулись друг в дружку носами, подбородками, вот и всё. А потом бегали, догоняясь, до самой одури. И не было границ ни степи, ни жизни. Раздолье, красота! У каждого ведь своя родина. Кто Волгой-матушкой хвалится, кто тайгой, кто морем, а у неё – степь, которая давным-давно былём да новым ковылём поросла.

– Не зря ваш колхоз называли «Светлым путём», – прокричал Сабир. Ветер мгновенно сорвал слова с губ и унёс в степной простор за мотоциклом.

– Каким путём? – расслышала баба Катя только последнее слово.

– Светлым путём, говорю, едем в райцентр, – напрягая связки, пояснил Сабир, усмехнувшись.

– Ох уж!.. – воскликнула баба Катя. – Пути светлы, да глаза слепы.

– Ничего, сегодня они слепы – завтра зрячи.

Прямо по дороге издали навстречу приближался гонимый ветром шар перекасти-поля. Мотоциклист притормозил, травянистый клуб подпрыгнул перед самым носом, врезался в руль, сухо скользнул по шлему и улетел. Сабир оглянулся: за мотоциклом – ничего, кроме пыли.

Баба Катя испугалась. По лицу её будто злая тень пробежала и хлестнула то ли сухой веткой, то ли колючкой. Она вжалась в коляску – не к добру это.

Минуту спустя мотоцикл зачихал и тихо встал.

– Что случилось? – забеспокоилась баба Катя.

Сабир не ответил, покрутил набалдашники ручек, слез с «коня», снял очки, опять взялся за руль и принялся ломать ботинком рычаг кикстартера. Бесполезно. «Урал» безмолвствовал.

– Гора старого утиля! – выругался он, обошёл мотоцикл вокруг, достал из патронташа отвёртку, плоскогубцы, скрючился у цилиндра – так, что почти скрылся из виду. Бабка продолжала сидеть в коляске, надеясь, что верные руки соседа всё уладят, и они тронутся дальше.

Время шло, однако машина не подавала никаких признаков жизни. Баба Катя не выдержала – пекло солнце, дул ветер в лицо, зашалили нервы, и она полезла из люльки. Но и на ногах не успокоилась, коротко замаячила туда-сюда. Беспокойство нарастало – неужели она так и не доберётся до чудо-доктора?

Сабир, наконец, выпрямился, тщательно протёр тряпкой руки и сказал:

– Пошли пешком.

– Дык, неблизко ж! – завозражала баба Катя.

– Ничего, дойдём.

– Всё-то у его – ничё, а у меня рематизм.

– Пошли, пошли. – Он взял её под локоток, и они не сразу, но двинулись по пыльной дороге.

Метров через пять старуха остановилась и сказала, что забыла тросточку в коляске.

– Я твоя тросточка, – ответил Сабир.

– Ещё вот что сообщу, – продолжила она, оставаясь на месте. – Дорога в райцентр идёт в обкружную, надо срезать и прям через степь... Ближе будет.

На немое сомнение провожатого дёрнула кончики платка под подбородком и ответила, как отрезала:

– Я тут каждую кочку знаю, не бойсь!

Сабир кинул взгляд на без конца и краю степь. Под ветром гривы седого ковыля ходили, точно морские, пенные волны. Высоко в чистом, без единого облачка, небе заливался звонкой песней жаворонок. И не было ему дела до жары, ветра, сломанного мотоцикла и слепой старухи.

– Какие кочки, ты же не видишь дальше носа ничего!

– Я не глазами вижу, – ответила она.

Неожиданно для самого себя слова старухи убедили выдавшего виды мужчину. И парочка свернула с дороги.

Он держал её под руку, а она чуть впереди него удивительно ловко лавировала между метёлками ковыля, кустами полыни и чертополоха.

Но скоро баба Катя начала тормозить, спотыкаться...

– Что с тобой? – остановился Сабир.

– Я ж те говорила – ноги... Болят они у меня. Давай передохнём малость.

Он согласился.

Сели в траву, перевели дух. Поднялись, снова двинулись... Однако через пять минут старуха опять заспотыкалась.

– Не могу больше. Перекурим.

– Нет, так дело не пойдёт. Садись мне на спину.

Хотела баба Катя возразить, но здравомыслие не изменило ей, и она, перекрестившись, подчинилась – полезла на хребет присевшего спутника.

Жаркое солнце набирало высоту. Коротко стриженую мужскую голову нещадно пекло. Порывы ветра не остужали. Ноша хоть и была невесть что, тем не менее свой вес имела.

«Да и выпил вчера лишнего, – казнил себя Сабир. – Надо же, без двух бабкиных рюмок самостоятельно осушил бутылку! Будто отродясь водки не видел. Хотя и верно – сто лет уж ни капли».

Степной путь был совсем не шёлковым. Постепенно ноша стала весомо тянуть, ноги налились тяжестью, рубашку хоть выжимай, в висках застучало. А бабка на загорбке разговорила. Всю свою жизнь вспомнила. Внучата-то у ней, оказывается, внучками были, близняшками, школьницами начальных классов. Не то второклашками, не то постарше. Сама всюду ранняя была, а дочь поздней оказалась. Всё бы хорошо, да вот муж – отец деток – сбежал от семьи.

– Потому и нелегко Марийке-то. Слышь меня?

– Угу... – только и мог ответить Сабир.

– А что значит твоё имя? – не унималась наездница.

– Терпеливый, – ответил он.

– Стало быть, выносливый, упёртый. Извиняй, конечно, но у нас поговорка есь. – Бабка даже хихикнула. – Нет, не скажу. Обидешься ишо.

– На обиженных воду возят, что ли?

– Не-е...

– Да говори уж, раз заикнулась.

– И то верно. Коль заикнулась... Нет, не могу.

– Не могу, не могу... – передразнил Сабир. – Сейчас в репейник брошу!
Баба Катя ёрзнула у него на спине и выдала:

– Терпи, пока-а терпя`т бока-а.

– Про меня, что ли?!

Перед его глазами встала старая открытка, которую видел ещё в детстве: босоногий китаец несёт на себе богатого соплеменника под зонтом. «Интересно, – подумал он, – как называется человек, который везёт на себе другого?»

– Обиделся? – услышал он за ухом и спросил вместо ответа:

– Голову не напекло?

– Не, я ж в платочке.

Через короткое время настроение у неё изменилось. Она начала ныть, что они опоздают, что ничего не получится и останется она слепой курицей.

– И почему ветер всегда навстречу? – был следующий её всхлип уже в самое ухо.

Он обернул голову:

– Это я тебя спрашиваю: где твой райцентр? Сколько уж скачем по степи! Давно бы дорогой дошли.

– Сама дивлюсь. Верно ж, кажись, направлялися...

Сабир чувствовал себя дурно. Во рту пересохло, голова раскалилась, как чугунок на огне, ноги заплетал ковыль. Наверное, так и должно быть, когда слепой зрячему дорогу указывает. В мозгу вспыхнула другая картинка, но всё на одну и ту же тему: «Почерневший лицом от солнца и ветра шерп эвакуирует на своей спине альпиниста».

Вскоре трава кончилась, вышли на песок. Легче не стало. Зыбучая почва лишала походка с грузом на спине равновесия. Тут ещё корни какие-то повсюду. Но он неотступно, как заведённый, пёр по намеченному курсу.

Порыв ветра поднял тучу песка и бросил на путешественников.

– Откель песок-то? – удивилась баба Катя.

– Так пустыня началась, Сахара! – ответил Сабир, отплёвываясь. – Не видишь?

– А то!.. – обиделась старуха. – Прозрела у ты тут на шее.

– Прости...

– Бог простит.

Она давно уже поняла, что забрели они куда-то не туда. Сбились с пути. Иначе давно бы дошли. Боялась не только вслух сказать, но и себе признаться. С прежними глазами-то не допустила б такого. «Расхвасталась: и без глаз каждую кочку вижу! А теперь хоть помри у него тут на спине от стыда и позора!» – думала она, и слёзы закапали проводнику на спину.

Но он не заметил, споткнулся о корягу...

Что интересно, в жизни до этого, споткнувшись, поскользнувшись, оступившись, ни разу не падал. Взмахивал руками-ногами, как крыльями, балансировал корпусом и выворачивал из любого пике. По крайней мере, не помнил нелепых, «штатских» приземлений. Он всё внештатное, нелепое называл штатским. А тут грянул со своей ношей в безбрежный простор пустыни, то есть, если быть точным, ткнулся носом прямо в горячий песок. Неловко так, бестолково, только и успел воскликнуть при падении:

– И-и, Алла!

Бабка же, как он ни пытался удержать её, вылетела из своего насиженного седла и закувыркалась, точно перекасти-поле.

– Жива? – спросил он, когда полёт закончился, и оба они замерли в неподвижности.

– Кажись, да... – застонала минуту назад благополучная пассажирка. – Только головой о што-то твёрдое тюкнулась. А ты?

Он не ответил.

– Э-эй! – испугалась она.

Отозвался Сабир не сразу. Положение у него было не самое радужное – подвернул капитально ногу.

– Не шею же, – зауспокаивала она, узнав, в чём дело.

Нога в высоком ботинке стремительно разбухла, вот-вот шнурки лопнут. О боли и речи нет!

– Пить... – сипло вырвалось у него. Рот связывала небывалая сухость. Язык, будто к небу прикипел.

– Водички-то у нас с собой нету, – констатировала спутница общее их разгильдяйство.

«Ё-ка-лэ-мэ-нэ! – выругался он про себя за секундную слабость. – Пить ему подавай!»

А вслух выдавил:

– Знаю.

К тому же глаза запорошило, и он тёр и тёр их кулаками. Затем сел покомфортней, если можно так сказать, и вслепую расшнуровал обувь: «Подумаешь, ещё ни в такие переплёты попадал!»

Но песок из глаз вместе со слезой не выходил.

– А-а, я поняла, куда нас загнуло! – сказала баба Катя, потрагивая шишку на лбу. – Это Захаркина Плешь. Тут, знамо дело, и озерцо должно быть, пошти как у нас. Вон, я ж вижу...

– Как же ты, слепая, видишь? – преодолевая сушь во рту, произнёс Сабир.

– Дык, не мерещится ж мне! Глазами вижу. Вон оно под ветром волнами ходит. – И вдруг ойкнула и зашептала: – Боже ж мой, неужели прозрела! Это ты, ты-ы, Всемиловый, путь светлый указал и камень подложил, чтоб я, раба твоя, соприкоснулась с ним межглазьем своим!

– Может, это ковыль, как обычно, волнами ходит? – засомневался Сабир. – А тебе озеро мерещится.

– Не-е, я его с детства помню. И купалась, и коня поила... Щас, соседушко дорогой... ты ж у нас Терпеливый... мигом принесу те напиток.

Баба Катя подтянула сумку, достала иконку в полиэтиленовом пакете. – Надо ж, надо ж! – Пакет освободила, а образ Божий обратно спрятала. – Одна нога здесь, другая...

Она встала, прозрачный мешок в её руке от ветра надулся пузырьком, она приложила его к груди, суетливо свернула и пошла.

Сабир не понимал, каким-таким образом на старости лет, в чистом поле можно прозреть? Он скинул с ноги ботинок, стащил носок, глаза тереть перестал – бесполезно, только хуже можно сделать грязными руками. Ничего, ещё ни в такие переплёты попадал!

Баба Катя вернулась через вечность.

– Щас напою тя!

Вода была тёплой и противной.

– Не кривись, наш Алтай пил – не отравился. Только хвостом от удовольствия помахивал.

Сабир нашёл силы в себе усмехнуться.

– И глазки промоем. А потом ишо принесу.

Она вылила остатки воды на его пропечённый солнцем затылок и опять ушла.

Солнце перевалило на вторую половину неба. Ветер не стихал. Баба Катя в поход за водой ходила несколько раз. Она ополоснула ему глаза, омыла вывихнутую ногу, да и всего его по пояс окатила:

– Всё равно рубаха вся наскрость...

После чего накрыла стриженую голову сплетённым из каких-то стеблей чем-то навроде венка или панамы.

Со временем глаза стали оправляться. Но всё равно были набухшими, красными и не переставали слезиться – просто течь ручьями.

– Теперича не мне нужда до глазника-то, – качала головой баба Катя.

Из очередного похода она вернулась с корягой в руке.

– Вот, нашла те посох.

Стали совещаться.

– Надо идти, – собрался с духом Сабир.

– А сможешь?

– Не дойду, так доползу.

– Куда идтись-то? В райцентр или обратно?

– Обратно, – ответил он.

– В больницу те, дружочек мой ситный, надоть сперва.

– Нет, Катрин, домой.

– Какая я те Катрин?! Забрел, што ль, уж совсем!

– Домой... по ветру, баб Кать, по ветру. Теперь он нам союзник. – Сабир заозирался, поднял в сторону солнца всё ещё влажную голову в панаме из ковыля, половил ноздрями горячие волны степного воздуха и скомандовал:

– Подъём!

На больную ногу встать не мог, глаза почти ничего не видели, но у него теперь в друзьях были баба Катя, посох и попутный ветер в спину.

С грехом пополам двинулись. Степь слушала песнь невидимого высоко в чистом небе жаворонка.

Не успели с песка в травы ступить – посох сломался. Со своим «рематизмом» сломалась и «Катрин». Не особо вспомоществовал попутный ветер, потому как путники не шли, а уже совершенным образом ползли.

Он помогал себе обломком коряги, точно штыком или сапёрной лопаткой. Она...

А что она? Не уставала мечтать о встрече с внучками, ободрять: «Видят очи – найдутся мочи». И рассказывать, какая красивая степь вокруг. А ещё сообщила по секрету:

– Сёдня ночью выйду из дому, встану на свой дубовый пенёк и на звёзды погляну. Давно не видала их.

Ветер гнал седые волны ковыля и подталкивал два маленьких, затерявшихся в степи существа в сторону деревни. Здесь ветры всегда дуют в одном направлении.

2016

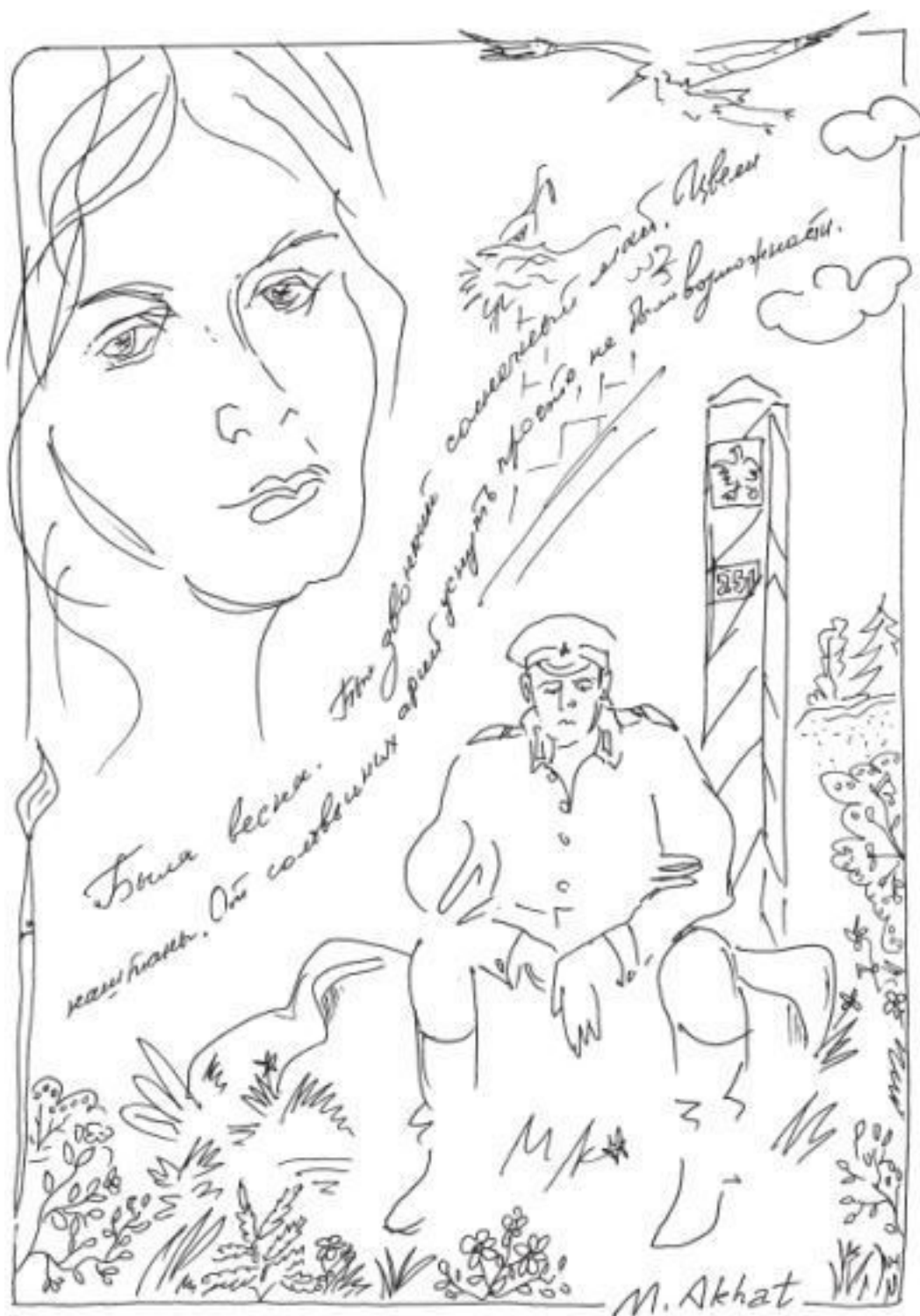
Иренка

Нет, не могу её забыть. Сколько лет прошло! – а не могу. И с каждым годом, чем гуще замешивается жизнь, чем, казалось бы, непроглядней опускается дымовая завеса времён, тем отчётливей я вижу её – всю, от светлых, пшеничных волос, от такого же цвета стрельчатых ресниц, обрамляющих серо-бирюзовый, всегда вопрошающий взгляд, до маленьких, то ли подростковых, то ли юной женщины ножек в простеньких сандалиях.

Помню её у шлагбаума в белом лёгком платье в конце зеркально гладкого автобана, окаймлённого вековыми дубами, покрашенными белилами и естественным образом заменявшими дорожные столбики ограждения. А я всё удаляюсь и удаляюсь, шаг за шагом, от дуба к дубу, пока она не превращается в белёсую, колеблющуюся точку. Помню белого аиста, свившего гнездо прямо на трубе её дома и живущего там со своим семейством уже несколько лет. Не догадался спросить: как же печка при необходимости топится? Надо же, до сих пор меня это интересует! А спросить теперь не у кого. Помню заставу со всеми её тренажёрами, баскетбольной площадкой, двухэтажной казармой, затянутой по стенам тёмно-зелёным, поблёскивающим плющом, и небольшим плацем рядом, побывавшим как-то международной концертной площадкой.

Да, я служил на заставе советско-польской границы. Это было в начале 70-х, естественно, не этого века, в городе, точнее, маленьком городке Багратионовске, который во времена Восточной Пруссии назывался Прейсиш-Эйлау. Близ него в 1807 году произошло грандиозное сражение Наполеона с русской и прусской армиями. Битва получилась кровавой, но равной. Командовал русской армией генерал Беннигсен. Под его руководством сражался князь Багратион, сражался и был ранен Барклай де Толли. Но город назвали почему-то не именем главнокомандующего... Может, потому, что в итоге Беннигсену, как Кутузову при Бородине, пришлось отступить? В городе сохранился дом, где останавливался Наполеон. Теперь на стене того дома висит мемориальная доска. На окраине города устремился в небо своей готикой памятник Прейсиш-Эйлаускому сражению, с двумя пушками тех времён по бокам. Красиво, я скажу! Вот в таком городке рядом с государственной границей я и служил. Добавлю, что там нет ни одной деревянной постройки, всё из камня и кирпича. Крыши оранжевой черепицы, дороги по городку мощёны брусчаткой, а не как у нас, под Кремлём, – булыжником. Ровные, узорчатые, пойдёшь – залюбуешься... Справа замок бывшего Тевтонского ордена, слева – костёл, ставший в наше время историческим музеем. Меняются времена, меняются названия и предназначение сооружений. Но всё равно не так легко разрушить былое, перелицевать историю...

Мне всё это близко, памятно, поэтому и вспоминаю подробно. А службу я начинал в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, родном городе Иммануила Канта. Но об этом старинном городе рассказывать не буду. О нём всё хорошо известно. Скажу только: там я прошёл двухмесячные «курсы молодого бойца», научился стрелять из «калаша» и довольно неплохо, прятаться в окопе под мчащимся над тобой танком и бросать ему сначала навстречу, а затем и вслед гранаты, пользоваться ракетницей, техникой пограничной связи... После курсов меня на заставу, как других, сразу не отправили, оставили при штабе помогать профессиональным художникам-срочникам обустроить музей части – с барельефами героев, панорамами сражений... Не хваюсь, но я обладаю некоторыми способностями художника, ещё на учебке наглядную агитацию оформлял – рисовал, скрипел плакатными перьями... И читал, много читал. При штабе у нас была великолепная библиотека. Шекспир, Толстой, Чехов, Шолохов, Катаев... Знаете ли, в армии я вдруг решил стать писателем. Ворочал книги классиков с карандашом в зубах – подчёркивал, выписывал, учился строить предложения, абзацы, фабулу...



Через полгода, однако, музей был готов. И в один прекрасный день я со своим нехитрым багажом погрузился под брезентовый тент военного грузовика «ГАЗ-66», который из-за двух шестёрок мы прозвали «шишигой». На заставу номер шесть (опять шестёрка!) везли какие-то приборы, вот и меня, адресованного туда, с собой прихватили.

Да, пожитки у солдата нехитрые, но у меня была ещё коробка с книгами. Это я подружился с библиотекаршей, и она, видя мою неумную любовь к художественной литературе, собрала небольшой комплект книжек. «Для самообразования будущему писателю!» – сказала, провожая меня. В тайную цель моей жизни библиотекарша была по секрету посвящена. Хорошая, молодая, образованная женщина. Такую библиотечку она мне предоставила! С возвра-

том, конечно. Хотя одну книжку, когда я уж прощался с армией, она мне подарила с доброй, напутственной надписью и штампом библиотеки войсковой части.

Большую роль при установлении прицела на будущую мою судьбу сыграл Куприн. Я был очарован его «Олесей», «Гранатовым браслетом» и особенно – «Поединком». А уж вот эти строки его из «Юнкеров» не оставили и грана сомнений в моей будущности. Прошу простить за пространную цитату:

«Мысли его и фантазии ещё долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где всё было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель»... Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создаёт каких хочет людей и какие вздумает приключения, и всё это остаётся жить навеки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, неправдашних людей и событий, и живёт годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных людских поколений».

Во как! Разве после таких строк можно хотеть быть кем-то другим?!

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?

Но важен сам момент мечтаний, ожидания чего-то большого, счастливого, каких-то перемен. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала, а в пенале начинающего писателя – перо Толстого. На то она и молодость. Мне было восемнадцать. Я был полон сил, надежд и чувства – верите – нет?! – свободы. Таким вольным, счастливым, устремлённым в будущее, как в армии, я больше никогда и нигде не был. Оказывается, ожидание праздника ценнее его самого.

В двух километрах от заставы – погранпереход «Багратионовск – Безледы». С нашей стороны всегда в пробке километровая колонна легковых автомобилей, упёршихся головной машиной в тот самый, упомянутый мной шлагбаум. Это желающие погостить в Европе. Через Польшу можно и в Германию махнуть и подальше, у кого как получится. Транспорт досматривали ребята из КПП (контрольно-пропускного пункта). Это была наша погранэлита. У неё обычным делом водились красивые металлические зажигалки «Las Palmas», авторучки с раздевающимися при встряхивании девицами, другие заграничные диковинки. Я в число элиты не входил. Меня, как и большинство призывников, определили мерить фланги. Поясню. У заставы два фланга, то есть участка границы, которые мы должны были охранять – вправо шесть километров и влево – три. Вот и ходи туда-сюда во всём снаряжении днём и ночью. Или лежи часами в «секрете», или торчи на вышке... Но мне это всё было не в тягость. Именно на границе я научился оставаться один на один с самим собою – размышлять, строить планы, сюжеты...

Снаряжение, конечно, было нелёгким: заряженный АК-47 с запасным магазином, штык-нож, который мы цепляли к стволу, боясь рысей, ракетница, фонарь с аккумулятором на боку, телефонная трубка со шнуром и штекером для связи (розетки были понатыканы под пнями и корягами) и ещё этот пресловутый серый погранплащ до пят из какой-то холстины, который вбирал в себя влагу с невероятной силой и при дождях становился таким тяжёлым, что, упав, встать самостоятельно, как рыцарю-крестоносцу в доспехах, было чрезвычайно сложно. Сейчас, конечно, всё изменилось – и оружие, и средства связи, и обмундирование, но тогда, при мне, всё было именно так.

Застава жила одной большой семьёй, никакой дедовщины (сами понимаете, боец там вооружён до зубов, не играй с огнём). То дикого козлика подстрелим в закрытой погранзоне,

то кабанчика... Вызовешь «тревожную группу»¹, она и доставит добычу на «газике» домой. А там общий, братский котёл, даже, бывало, пельмени лепили. За один стол с «отцом» садились – начальником заставы, майором по фамилии Щербань, у которого тут своя семья проживала – жена Марья Петровна с маленькой дочкой Машей. Старлей (его зам) со старшиной за старших братьев были – добры, отзывчивы, но при исполнении строги, как положено.

Так и жили – не тужили, а службу по всем правилам, без сучка и задоринки несли. К весне того памятного года мне присвоили звание младшего сержанта. Жить стало повольготнее. Однако армия есть армия. Особенно наш род войск, один из самых дисциплинированных и строгих в жизни личного состава.

Времени почитать, позаниматься оставалось не так много, но грех жаловаться. Я даже порисовать успевал. Обыкновенно делал наброски с друзей. Что интересно, наш призыв состоял в основном из татар и белорусов. Красивый язык у ребят из Полесья: на русском ласточка, а на белорусском – ластовка. Что мягче и благозвучней?! Фамилии у них интересные: Виничек, Черёмуха, Ветла...

А проводником служебной собаки у нас был сержант Дубина. Не выдумываю, вот достал папку с набросками, листаю, а они, рисуночки мои, портреты все – кто есть кто – подписаны: фамилии, имена, звания...

Были, конечно, и не особо приятные моменты. Особенно эти кроссы, которые «отец» обожал и по которым наша застава в отряде (у пограничников именно отряд, но не полк) была в призраках. Бегали по пояс раздетые, в сапогах. Дистанция четыре кэмэ, как раз по автобану до шлагбаума и обратно. Вот бегу я раз, жара, язык на плече... Всё, издыхаю, сейчас упаду... И вдруг кто-то подталкивает меня в спину. Знаете, какая это всподмога?! Толчок, и ты шагов пять-шесть уже не бежишь, а летишь, будто не в тяжёлых сапогах ноги, а с крылышками у босых щиколоток. Оглянулся – это мой земляк из Зеленодольска ефрейтор Вагиз Шакиров. Так и спас меня, сержанта, даже в срединную группу бегунов затолкал. Впрочем, в марафоне все равны. Сержант, ефрейтор, рядовой... какая разница! Главное тут – дыхалка. На голом торсе знаков различия нет.

Сел я вечером и изложил этот случай на бумаге. И вообще, расписал, кто такой ефрейтор Вагиз Шакиров. Он ведь и пел хорошо, прям как его знаменитый однофамилец Ильгам. Как затянет на родном татарском: «Эх, подняться бы на Уральские горы!», так просто душу вынет! А потом он был мастер на все руки – и плотник, и сантехник, и всё что угодно. В нашей «коммуналке» Вагиз был нарасхват. В общем, прицепил название к тексту, обозначил жанр как очерк, запечатал в конверт и отправил с ближайшей почтой в Киев, в окружную газету «Наш пограничник». Да, ещё и портретик его, пером и тушью выполненный, присовокупил. Денёк помечтал о публикации, а потом в суете ежедневной и позабыл совсем о своём послании.

На другой день нас с Вагизом послали к шлагбауму за молоком. Это большой секрет, но два раза в неделю польский фермер Милош на своей двухместной коляске на автомобильных шинах, запряжённой гнедой лошадкой, привозил рано утром нам для заставы свежего молочка. Обыкновенно это был один большой бидон. Расплачивалось начальство, наше дело было доставить ёмкость «домой». Замечу только, такого вкусного молока я больше никогда в жизни не пробовал.

Была весна. Был звонкий солнечный май. Цвели каштаны. А по ночам от соловьиных арий уснуть просто не представлялось возможности. Бывало, я вставал среди ночи, выходил на свежий воздух, вглядывался в далёкие созвездия, и дышалось так легко на залитой серебряным светом земле, и мечталось так безудержно, и предчувствовалось так остро... А что предчувствовалось? А что может предчувствоваться, когда тебе восемнадцать лет!

¹ «Тревожная группа» состояла из проводника служебной собаки, стрелка, радиста и водителя автомашины. Без тревоги группа могла уменьшаться вдвое.

Утром меня растолкал Вагиз, наспех ополоснулись и потопали к «газику», за рулём которого дожидался единственный русский парень на заставе Вовка Абрамов, тоже волжанин, из Жигулёвска. Я с ним крепко сдружился позже. После армии ездили даже друг к другу в гости, долго переписывались, потом, к сожалению, как-то всё сошло куда-то. В этом, наверное, ничего удивительного, всё закономерно – нет на свете власти выше времени, и оно диктует правила. Где он, кто он теперь? Ведь тоже хорошо рисовал.

На месте назначения пана Милоша не оказалось, гневой лошадкой умело правило небесной красоты белокурое создание. Просто ангел, только без крылышек за спиной. Она улыбнулась на наши недоумённые лица и поздоровалась:

– Дзиень добры, панове!

Мы с Вагизом стояли за шлагбаумом с открытыми ртами.

Она пояснила:

– Оциец мало-мало захворовачил... – пояснила она и похлопала ладошкой по влажному бочку бидона, разместившегося в коляске у её ног. – А от вам млеко!

Первым пришёл в себя Вагиз:

– Доброе утро, панна!

За ним и я очнулся:

– А что с отцом?

– Ангина, – ответила она. И стала быстро-быстро то на русском, то на польском пояснять, что отец в мае всегда заболевает, но к двадцать восьмому мая обязательно выздоровеет: – Ведь шьвиэто – праздник!

– Да, через неделю будет большой шьвиэто, – подтвердил я. – День пограничника же!

По обыкновению в этот день мы открывали к вечеру границу, и к нам в гости шли польские пограничники, жители близлежащих польских поселений и, естественно, вместе с нами отмечали праздничную дату жители Багратионовска во главе с мэром города. Устраивались совместные концерты, игры, танцы, одним словом, говоря по-нашему: наступал настоящий сабантуй.

Мы спросили (не припомню даже – кто из нас), как её зовут.

– Иренка, – ответила девушка.

– Ирина, наверно? – уточнил я.

– Нье-е, – возразила она и повторила: – Ире-е-енка.

Хотя – да, у полек немало имён, оканчивающихся на «ка». И это у них не уменьшительно-ласкательная форма. Сразу вспомнились Анжелика, Генрика, Бланка... А у моего отца в лаборатории работала Агнешка.

Мы тоже представились. Она по слогам, как первоклассница за учителем, повторила наши имена и, когда у неё это хорошо получилось, засмеялась, показав жемчужные зубки, весело, заливчато, будто ручеёк зажурчал по камешкам.

Из будки на краю шлагбаума за нами с интересом наблюдал свободный от досмотра автомобилей капэпэшник Закиров из Мамадыша. Гимнастёрка у ворота расстёгнута – уже, несмотря на раннее утро, жарко, уже солнце из-за холма бьёт по будке и колонне легковушек прямой наводкой, высоко в небе чертят свои иероглифы стрижи, день намечался прекрасный, как и весь конец мая, по предсказаниям.

Я спросил: будет ли она на нашем празднике.

– Так, натуральне²! – И даже заговорщицки сообщила, что собирается на концерте песенку спеть. Какую? Секретик.

Я только вздохнул в ответ, отвёл от неё взгляд, что сделать, признаюсь, было непросто. Мы с Вагизом взяли за ручки бидон и сняли с коляски, помогли развернуть Иренке её

² Так, натуральне (польск.) – да, конечно.

транспортное средство. Она дёрнула поводья и помахала нам ручкой. Мы долго смотрели ей вслед. Затем погрузили бидон в наш «газик», надо было поторапливаться, чтобы первоклашка Машенька перед школой успела свежего молочка попить.

С утра 28 мая личный состав заставы, свободный от нарядов по охране границы, на славу помаршировал парадным строем по городку. Возложили погранцы в свой праздник цветы к памятнику павшим нашим солдатам при взятии Восточной Пруссии, а также – к величественному бюсту Багратиона. А я уже с самого рассвета топал во всеоружии на левый фланг заставы часовым границы – три кэмэ до стыка с флангом другой заставы и три – обратно.

Я шёл малозаметной тропкой вдоль КСП (контрольно-следовой полосы) и размышлял: а что же тогда утром произошло, когда за молоком с Вагизом съездили? Иренка с тех пор не покидала моё воображение, мои мысли, с тех пор какое-то новое ощущение зародилось под моим солнечным сплетением. Будто кто-то врезал мне под дых, и с того момента я очухаться, отдышаться не могу. Спросил я у Вагиза: с ним ничего не произошло после поездки за молоком? Он пожал плечами:

– А что должно было произойти? Молока я всего одну кружку выпил...

Я не стал вдаваться в подробности. Значит, это только со мной такое, значит, случилось то самое, что остро предчувствовалось накануне поездки. Мне вспомнился фильм «Человек-амфибия». Я и роман Беляева до этого читал. Но кино, в отличие от суховатой книги, произвело на меня тогда, в юности, неизгладимое впечатление. Гуттиэра спрашивает влюблённого Ихтиандра: «Так значит, это любовь с первого взгляда?» И тот отвечает вопросом на вопрос: «А разве бывает другая любовь?»

И в самом деле, разве бывает? Первый взгляд, как стрела, пущенная амуром, или точно в сердце, или – мимо. Вторые, третьи стрелы – это уже насилие над человеческой душой, это уже не любовь, а призыв или принуждение к сожительству. Наконец, я перестал мучить себя безответными вопросами. Ожидал, помнится, чего-то большого, счастливого, перемен каких-то ожидал, вот они и наступили.

Безответные вопросы покидали вооружённого далеко не луком и стрелами солдата минуты на две, а потом опять наваливались, но уже с удвоенной, с утроенной силой. Интересно, придёт она всё-таки на праздник или не придёт?

На заставу я вернулся к обеду. День, как и предсказывали, выдался солнечный, по-настоящему праздничный. Мне было жарко от многочасовой ходьбы, от тесного воротника гимнастёрки и тех неведомых чувств, поднявшихся в душе после встречи с Иренкой. Повар позвал меня пообедать. Есть не хотелось. Я попросил лишь кружку холодного молока. После столовой поднялся к месту своего обитания – к кровати с тумбочкой на втором этаже. Подшил свежий подворотничок, оздоровил пуговку на гимнастёрке, поправил сержантские лычки на погонах, помылся-побрислся, отполировал сапоги...

В три часа начались празднества со спортивных соревнований на брусьях, перекладине, гимнастических кольцах, «коне». Майор Щербань лично палил из стартового пистолета на стометровке. Ладно, хоть кросс не заставил бежать! В заключение пошла вольная борьба. Победители получали призы от мэра и начальника заставы, болельщики болели – свистели, хлопали в ладоши...

После наряда я имел право не бегать, не прыгать... Я слонялся по праздничной заставе, выискивая взглядом одного-единственного человека. Иренку, конечно, ведь обещала... Как она сказала-то: «Да, натурально приду». Где же её натуральность?

Она появилась незадолго до начала концерта. Подошла ко мне сзади и зажала ладошками мне голову: отгадай, мол, кто? Я сразу произнёс:

– Иренка!

Она откинула ладони, рассмеялась своим негромким, журчащим смехом... Над плечом её торчал гриф гитары.

– А где Вагиз? – спросила.

– Вон же он, борется, – ответил я, кивая на маты у баскетбольного щита.

Я, Иренка и её семиструнная гитара устроились на скамеечке в тени каштана и стали наблюдать, как мой земляк, распластавшись в партере, никак не хотел сдаваться нашему здоровяку Виничику из Гродно.

– Папа выздоровел? – спросил я.

– Нье, – ответила она.

– Значит, одна пришла?

– Та...

Я тронул струны гитары:

– Будешь, значит, петь?

Она согласно улыбнулась:

– Та, буду.

– А я так и не научился играть на гитаре. Когда подростком был, упрямил родителей купить мне её... Старался, старался, но дело дальше «Цыганочки» не продвинулось.

Подожёл раскрасневшийся Вагиз. Концовку его схватки мы прозевали. Он утирался полотенцем и ворчал:

– Да он чуть ли не в два раза тяжелее меня! Разве можно весовые категории не разграничивать?!

– Не переживай, – попытался я успокоить друга. – Ты здорово боролся!

– А-а-а! – только и произнёс он раздражённо. – Пойду в душ.

До концерта оставалось время. Иренка отметилась у организаторов, и мы пошли к озерцу посмотреть уток. Их там плавало два выводка. Это были серые чирки и зеленоголовые красавицы кряквы с белоснежными воротничками кольцом вокруг шеи. Они сразу подплыли к нам и стали наблюдать за тоненькой девушкой в светлом платьице и солдатиком с гитарой, как ружьём, за спиной, которые почему-то не бросали им хлебушка. Не подумал я о гостинцах им, надо было зайти в столовую...

Вскоре сыграли позывные концерта, и мы поспешили к плацу с сооружёнными там из досок лавками и импровизированной сценой без никакого возвышения.

Концерт получился грандиозный. Начался он с хоровой песни польских пограничников, затем пошли и сольные исполнения, и пляски, и выступления чтецов... Все были хороши и прекрасны в искренних своих выступлениях, но больше всего потревожили мою душу, конечно же, мой земляк Вагиз Шакиров и Иренка. Высокие ноты «Эх, подняться бы на Уральские горы!» унесли меня с самого западного городка нашей страны далеко на восток, в милое сердцу Заволжье. Послушал песню на родном языке, будто в отпуске на родине побывал!

Иренкина песня – прямая противоположность, никакой страсти и возвышенности. Она села на табурет, обняла гитару, вдохнула полной грудью посвежевшего к вечеру заставского нашего воздуха, а можно сказать, и родного – чего тут, до границы-то два шага! – и из уст её полилась тихая польская песня. Она текла свободно и легко, без малейшего напряжения. Иренка ласково перебирала своими тонкими пальчиками серебристые струны, чуть склонив голову набок, так, что крыло её пшеничных волос прикрыло пол-лица, поводя в такт узкими, по-детски заострёнными плечами, и гитара отвечала ей взаимностью. Казалось, что певица и гитара – это одно единое существо, которое живёт исключительно общей на двоих песней. И ту её, выплывшую вдруг на простор полноводную, затопившую всю мою душу песню, как, скажите на милость, описать словами? И как передать то безбрежное чувство к Иренке, к её дарованию, к её мягкому, текущему голосу, которое охватило меня целиком и полностью от ершистой макушки до пят?!

Нет, я мало что понял, хотя и говорят: славянские языки похожи. Но песня – на то она и песня, пусть английская, французская, итальянская... Она не для того рождена, чтобы какие-

то слова и смыслы оглашать, она душевное состояние исполнителя передаёт, у неё интернациональный язык сердца. И не надо ей никаких толмачей. Порой я даже радуюсь, что не понимаю иностранных слов некоторых песен, поскольку это даёт возможность в тронувшую тебя мелодию вкладывать что-то своё, личное, адресованное кому-то недостижимо далёкому. До этого с польской культурой я был не очень знаком. Ну, читал Мицкевича, Сенкевича, смотрел Анджея Вайду, слушал Чеслава Немана... И всё, вроде. Кто думал, что пошлют меня служить на польскую границу и влюблюсь я там в панночку из ближнего воеводства?

Всех громче и неистовей Иренке аплодировали, безусловно, мы с Вагизом. От земляка, между прочим, уже попахивало спиртным.

– Где это ты успел? – поинтересовался я.

– Пшеки угостили.

Пшеками мы называли поляков, поскольку в их речи изобиловал звук «ш».

– Погранцы или штатские?

– Погранцы, – кивнул он в сторону небольшой группы польских пограничников у гимнастических брусьев. – Больно уж песня им моя понравилась. А что, может, и тебе немного вздрогнуть?

– Нет, спасибо, – ответил я и поинтересовался: – Что пили-то?

– Польскую...

– И как она?

– Водка как водка.

– А закусывали?

– Настоящей краковской...

Вагиз не договорил, подошла Иренка, мы расступились, и она села между нами. Мы принялись наперебой восхищаться её песней да так громко, что на нас сзади зашикали.

На сцену вышел старшина. Его коронкой была чечётка. Хромовые сапоги начищены до блеска, да и весь он светился и блестел каждой пуговкой, бляхой ремня, медалью на груди, чёрными цыганскими глазами...

Я спросил Иренку, о чём была её песня.

Она сказала, что это история об аисте, который, как и положено, прилетел из тёплых краёв пораньше, обустроил гнездо и стал ждать любимую, а она не прилетела.

– Почему? – спросил я.

– Попала в шторм и погибла, – ответила она.

– Грустная история.

– Очень.

Иренка всё-таки хорошо говорила по-русски, хотя нередко использовала родной, польский. В те годы, о которых я рассказываю, русский язык в польских школах был обязательным предметом.

После выступления старшины Иренка засобиралась:

– Пора до дома. Отец там йеден.

– Почему один? А где мама? – спросил я.

– Мама у дзидека в Бартошице.

– А с дедом-то что?

– Ревматизм... Мама ухаживает.

Вагиз заметил:

– И с аистами у тебя, Иренка, печально, и вообще...

– Но сейчас же танцы начнутся! – попытался я изменить ситуацию.

Однако гостя наша была непреклонна.

– Мы тебя проводим, – сказал, как отрезал, ефрейтор.

– Добже, – ответила она. – И ласково взглянула на нас обоих.

Мы шли по автобану в сторону КПП, а за спиной на заставе грянул музон – начались танцы. Земляк нёс бережно гитару, а я сошёл с дороги и собрал букет полевых цветов.

Не перестаю удивляться, как девушки всегда восторженно реагируют на цветы. Я церемонно, с поклоном протянул букет нашей прекрасной даме, она в знак благодарности присела, оттянув подол платья в стороны, безмятежно рассмеялась и опустила лицо в полевое разноцветье у себя на груди.

Прощаясь у шлагбаума, она сказала:

– Увидимся!

– Конечно, – ответил Вагиз.

– Обязательно, – отозвался я.

На заставе было весело, на плацу под живую музыку ВИА из Дома культуры Багратионовска кружили счастливые пары. Праздник продолжался. Вагиз шумно потёр ладонью о ладонь, расправил гимнастёрку под ремнём на поясе, грудь колесом сделал:

– Пойдём!

– Нет, я ж с пяти утра на ногах, – ответил я. – Отдохну, почитаю...

Не читалось, не писалось. Как же это мы увидимся с ней?

* * *

Через два дня нас повезли на ночные стрельбы по движущимся мишеням. Полигон был тут рядом, под Багратионовском. Личному составу ведь надолго отлучаться с заставы нельзя, хотя и оставались там наряды, дежурный по заставе, «тревожная группа», часовой, один из офицеров или старшина. Таков пограничный устав.

Обыкновенно на стрельбах из «калаша» даются две главные команды, два приказа: одиночными бить по цели или очередями. Не считая уточнений: стоя, лёжа, с колена... Я сразу научился отсекал по два патрона при очередях. Два патрона вместе – это считалось очередью, и у стрелка, соответственно, увеличивалось число выстрелов. У Вагиза вот не получалось, стрельнёт два раза и «магазин» весь опорожнит. Всё в «молоко» уйдёт, ведь в цель летят только первые пули, остальные – выше и в сторону.

Ночные стрельбы – красота невероятная! Там же трассирующими пулями жарить. Нажмёшь на спусковой крючок, и из ствола твоего во тьме, подсвеченной слегка осветительной ракетой, вырываются разноцветные снопы огня. Полёт каждой пули очерчивается зелёными, красными линиями от тебя и до самой цели. Единственно, что осложняло, это перебежки. Стрелять надо было, перебегая от рубежа к рубежу. Во тьме-то! Один у нас так ногу сломал, ступив в какую-то невидимую ямку.

На этот раз обошлось без травм и приключений. Отстрелялся я на «отлично», Вагиз – на «удовлетворительно». Видите, как всё на свете уравновешено: он лучше бегаёт, я – стреляю, он лучше поёт, я – рисую, он в сантехнике разбирается, я – в литературе... Так и дополняли друг друга, так и дружили. Вместе мы и дембельнулись³. Приехали в Казань, сначала ко мне зашли, в смысле, к моим родителям, я у них жил. Отметили, потом я проводил его на автобус, и он уехал к себе в Зеленодольск.

...Вернулись со стрельб за полночь. Дежурный остановил меня и сказал, что на завтра с утра мне назначен наряд: покраска столбов. Понятное дело, пограничных, а не телеграфных. Он хлопнул меня по плечу со смешком:

– Художник должен заниматься своим делом – красить, правильно?

³ Дембельнулись (армейский жаргон) – уволились в запас. От слова «демобилизация».

Пограничный столб – это уже самый последний пограничный атрибут на краю государства. Он у нас был, как и теперь, двухметровый, красно-зелёный, на бетонированной отмостке. В верхней, красной, части – металлическая пластинка с гербом. Под ним – номер столба. Напротив, метрах в десяти, польский, красно-белый. Красивый, яркий. Полосы на его гранях не горизонтальные, а уходящие углом вверх. Между этими двумя столбами и проходит госграница. Поляки её не охраняют. «Зачем, – говорят они, – если вы охраняете?» Появляются на велосипедах только тогда, когда надо столбы починить или покрасить.

Столбы красить не сержантское дело. С другой стороны, кто это лучше меня сделает? Взял замазку, краски, кисти, трафареты для номеров, сложил в санитарную суму, и «тревожная группа» закинула меня на правый фланг, перебросила через КСП, все ограждения, прямо к запланированному для косметического сеанса столбу. Таким образом, боец из Казани остался один на один с пограничным столбом, банками-склянками и телефонной трубкой на самом западе страны. Да, ещё штык-нож болтался на ремне.

От этого столба мне самостоятельно надо было перейти потом к другому. Когда начал работать, светило солнце, всё было нормально. Столб мой был гладенький, без повреждений, так что я с ним быстро управился и пошёл ко второму, но путь мне преградило самое настоящее болото, поросшее камышом и осокой. Я тихонечко двинулся по мшистым кочкам. Прыг да прыг с одной на другую. Но скоро увяз, зачерпнул сапогом зеленоватую жижу и вернулся обратно. Что, «тревожную группу» вызывать, чтобы вернуться за все ограждения и КСП? Одному нельзя – испорчу рифлёную «песочницу», да ещё эта сигнализация – такой шухер подыму! Сейчас, конечно, всё по-другому, но и в те времена технические средства охраны были довольно хитры и изощрённы.

Я решил обойти болото по польской стороне. Пограничников ни ихних, ни наших не видать, болото это не такое уж большое, никакого риска. И я, подхватив суму с банками, кистями, направился быстрой походкой к намеченной цели – к двум маячившим друг против друга вдаль за болотом столбам. Кстати, польский, красно-белый, проглядывался лучше, наш же, полузащитного цвета, сливался с зеленью кустарников.

Такой быстрой смены погоды я ни до, ни после того дня не видел. Откуда ни возьмись, набежали лиловые тучи, всё вокруг потемнело, засверкали молнии, гром загредел артиллерийской канонадой, и хлынул проливной дождь. Я, казалось бы, уже добрался по «берегу», посуху до срединного края болота, где обнаружил, что оно имеет замаскированные рукава, и их тоже надо было обходить. Не привык я сворачивать с намеченного пути, пошёл дальше. Тут-то и началось...

Я упорствовал, проклиная всё на свете – и непогоду, и дежурного, объявившего мне этот наряд, и самого себя за то, что не вызвал «тревожную группу». А ливень не унимался, он усиливался и усиливался, пока не превратился в Ниагарский водопад. Он-то вместе со шквалистым ветром и сбил меня с ног. Или я просто поскользнулся? Так или иначе, свалился в какой-то овражек, где с моей ногой и случилась беда. Боль электрическим током прошла от лодыжки вверх по всему телу, будто меня молнией шибануло. Я плохо переношу различные болезни и всякие боли. Слабак, наверно. Вот начнут враги пытаться, все секреты выдам, какие знаю и не знаю.

Тем временем овражек стал быстро наполняться водой. Не хватало коренному волжанину в какой-то позорной яме утонуть! Я полез по склону, скользя и скатываясь обратно. Когда воды было уже по пояс, попытка удалась, и я выбрался из западни.

Я растянулся ничком в холодной мути, бездумно хороня лицо в ладонях, повторяя про себя одно и то же: «Ничего, я терпелив и упрям. Переживём и эту напасть!» Что интересно, много лет спустя, мой шеф выговаривал мне у себя в кабинете: «Ты необыкновенно упрям, дорогой, стоишь на своём вопреки всякому здравому смыслу». Я ответил, вспомнив ту бурю и ту мутную жижу, в которой лежал вниз лицом под дождём: «Да, что есть, то есть».

А дождь сменился градом. Белые горошины забарабанили по спине, по неприкрытому затылку. А где фуражка-то? (Замечу в скобках, у погранцов пилоток нет, только фуражки. А так хотелось походить в лёгкой пилоточке!) Стал шарить вокруг – не нашёл. Наверное, в яме осталась.

Наконец, в небесной канцелярии смилоствивились – заменили град на душ простого, но сильного дождя. По-прежнему сверкало, громыхало, и порывистый ветер накатывал и накатывал дождевыми волнами. Надо было двигаться, и я пополз, превозмогая боль в ноге. Сколько длился этот кошмар, трудно сказать. Сознание вдруг прояснилось, когда я наткнулся на столбик с вывеской «Mala-Malina».

«Мала-Малина», – повторил я вслух. И уж про себя: «Надо же, до какой-то польской деревни дополз!» Попытался подняться, но боль так стрельнула от ноги по всему телу, что и сознание застывало. Но я всё равно пополз. Мной опять двигало исключительно оставшееся включённым упрямство и какая-то сила инерции на полном автомате.

Где болото, где граница, где я сам, было непонятно. Дальше своего носа ничего не видеть. Дождевая завеса не расступалась. Я продвигался на четвереньках. Останавливаться нельзя было. Остановка смерти подобна – расслаблюсь, усну и хана. Маршрут рисовался в голове навязчивым пунктиром между «Мало-Малиной» и болотом – к погранстолбам.

Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ясно было одно: я бестолково сбился с пути.

Буря прекратилась так же неожиданно, как и началась. Расправило лучи предзакатное солнце, на небе ни облачка, кружат в вышине не то стрижи, не то ласточки, в луже купаются воробьи... Я подтянулся к одинокому дубу, облокотился спиной к его могучему стволу – надо было передохнуть, собраться с мыслями, сориентироваться.

И вот полулежу, полусижу я так... Один сапог снял, второй не смог... Мимо проплывает яхта с белоснежными парусами, с борта её сходит ангел в белом лёгком платье, подходит ко мне, называет по имени, тормозит за плечо, я пошире открываю глаза – передо мной Иренка.

– Же с тобой? – присела она рядом на корточки. – Проще, скажи же ж?!

Я протёр глаза кулаками – не сон ли это? Коснулся руки Иренки – тёплая, живая... И поняв, что не сплю, вдруг рассмеялся по-детски простодушно и доверчиво.

Иренка повторила вопрос. Пришлось рассказать: был брошен на покраску погранстолбов, решил от одного столба до другого пройти по польской стороне, обогнув болото, началась буря, повредил ногу, заблудился...

– Где я?

– У меня в гостях, в Мала-Малине, вон наш дом на холме с краю, – показала она пальчиком на белый домик с оранжевой крышей недалеко от обрыва.

Не буду расписывать своё тогдашнее состояние, вдаваться в малоприятные подробности своей жалкой эвакуации с поля боя: как Иренка подогнала своего гнедого с двухместной коляской на мягких шинах, как увезла к себе домой, как освободила распухшую ногу от сапога, разрезав голенище... Она сбегала и позвала врача, друга семьи, жившего по соседству. Его звали Кшиштоф. Он осмотрел мою раздувшуюся лодыжку, но диагноз поставить не смог – то ли связки порвал, то ли вывих...

– Но не открытый же перелом, – пошутил я.

– Слава богу! – сказал он. – Надо снимок делать. – И сделал мне обезболивающий укол в ягодицу. – Може, временно шину наложить?

– Не надо, – сказал я. – В санчасти всё сделают.

Солнце село за макушки дальнего леса, я засобирался домой, к себе на заставу, но Иренка отговорила. Сказала: завтра с утра пораньше отвезу к шлагбауму, заодно и молока прихватим, а нога, врач же сказал, скорой помощи не требует. Я взвесил ситуацию, положив на одну чашу

весов своё «дезертирство» и расплату за это, на другую – Иренку, общение с ней, о котором мечтал, но в которое уже не верил. И вторая чаша перевесила.

– Ты права была, – напомнил я, – сказав тогда на прощание: увидимся.

Посмеялись над её пророчеством. «Да, – подумал я, – теперь смешно, а что потом будет?» Чёрная метка прокралась в мозг мой, помню, только единожды, больше тяжёлыми мыслями я не омрачал подаренное судьбой нам с Иренкой свидание. Да и права она: не я же виноват, в конце концов, а буря, форс-мажор.

Ужинали в саду. Последний вечер мая. С яблонь сыплет оставшимся цветом. От бури ни следа. Дом Иренки на взгорье, лужи здесь не задерживаются.

– А где пан Милош? – спросил я.

– В госпитале, – ответила она. – Температура поднялась...

– И я ещё тут с ногой...

– Ничего, – заверила она. – И тата выздоровеет, и ты поправишься.

Одноэтажный дом, расписанный по белой штукатурке райскими птицами, причудливыми цветами в завитушках трав, с черепичной крышей и высокой красного кирпича трубой, на которой огромной шапкой свили гнездо белые аисты, смотрелся павильонной постройкой для какого-то сказочного фильма. Хозяин гнезда на верхотуре вытянулся во весь рост в своём белом фраке с чёрными фалдами, задрал голову и гулко цокал длинным клювом, объясняясь в чувствах возлюбленной, устроившейся рядышком. «Гость» внизу за столиком, накрытым вышитой цветными нитками скатертью и убранном необычными кушаньями и закуской, потягивал из бокала самодельное пиво в компании юной, очаровательной хозяйки. Боль в ноге после вмешательства пана Кшиштофа поутихла, душа вбирала в себя все ароматы освежённых ливнем здешних полей и лесов; низким грудным контральто ласкала слух корова в хлеву, та самая, должно быть, что поила своим молоком всю нашу заставу. Я сидел в белой просторной рубахе и холщовых портках пана Милоша (одежда моя сушилась на бельевой верёвке во дворе), любовался Иренкой, и мир казался мне прекрасным, жизнь удивительной и будущее виделось светлым и счастливым. Такого радужного и вдохновенного состояния я в жизни больше никогда не испытывал. А что, мне восемнадцать! Иренка всего на полгода младше. Оба мы свежи, чисты, помыслы наши возвышенны. Я смотрю в её серо-бирюзовые глаза и ощущаю себя на седьмом небе. Иренка поправляет пшеничную прядку, сорвавшуюся из-под платочка, что-то говорит, а я, восторженный жеребец, бью копытом и ничего не слышу.

– Что? – переспрашиваю.

– Гdzie, молвлю, находится Казань? Ближе Москвы?

– Нет, дальше.

– Гdzie дальше?

– На Волге-реке.

– А-а... – кивает она понимающе и опять спрашивает: – По-русски: я тебе люблю. А по-татарски как будет?

– Мин синэ яратам.

Она смеётся, пытается повторить, но у неё это плохо получается. Я замечаю на груди её, в разрезе платья, маленький крестик. Она ловит мой взгляд, и крестик исчезает, только тоненькая цепочка остаётся на виду.

Я прошу её спеть.

– Нье, – говорит она, потом соглашается, выносит из дому гитару, и по вечерним туманам и выпавшим на ночь прохладным росам плывут задушевные польские песни.

Я был сражён наповал. Восхищался, благодарил её, а поцеловать, хотя бы по-братски, – нет, не осмелился.

Уже темно, она в свете фонаря над террасой пишет что-то авторучкой на листе бумаги и протягивает мне.

– Что это?

– Мой адрес.

Я бегло читаю. Труднопроизносимое воеводство из двух через дефис слов, далее – Мала-Малина. Это понятно. Улица, номер дома... И подпись: Иренка Игначек.

Аккуратно складываю лист вчетверо, прячу в нагрудном кармане рубахи.

Она постелила мне в небольшой комнате с окнами в сад. Вокруг белизна стен с фото-портретами неизвестных мне людей, на белёной печи – разноцветные узоры, как на стенах дома снаружи. Из открытого окна веет послегрозовым, насыщенным озоном, чистым, свежим воздухом. Зашёлкали, засвистели в саду на все лады соловьи... Не спалось. Перед глазами стояла Иренка, и я говорил ей то, что не хватало духу сказать вечером. Я слышал, как она за дверью тихо ступает туда-сюда, позвякивает посудой, ведрами, выходит во двор – управляется с возложенным на её хрупкие плечи хозяйством. Уснул как-то резко, мгновенно, точно в яму провалился.

Утром меня ждала на табурете чистая, свежевыглаженная солдатская форма, на столе – стакан молока.

В углу стояли костыли, один мой сапог с какой-то калошей рядом – для больной ноги, стало быть, и пакет, видать, со вторым, разрезанным сапогом. Да, нога опять заныла со страшной силой, хоть на стену лезь.

Около шести утра Иренка вошла ко мне в комнату опять-таки с паном Кшиштофом. Он осмотрел больную ногу, опять сделал мне обезболивающий укол и сказал, что часа на четыре действия инъекции хватит.

– Успеешь до своих добраться.

– Не знаю, как и благодарить вас, пан Кшиштоф! – ответил я.

Я встречал потом в жизни немало хороших людей, но образ пана Кшиштофа остался в памяти в каком-то её особом красном уголке.

На завтрак были два яйца всмятку, хлеб, масло, вчерашние вареники (с картошкой, творогом, грибами), которые она называла пирогами, и кофе с молоком. На этот раз мы сидели на веранде с видом на бескрайние, окутанные туманом поля в низине и на встающее за границей, далеко в России солнце.

Я сказал Иренке:

– Скоро солнце перейдёт на эту сторону, а я, наоборот, – на ту.

– Жаль... – произнесла она тихо. – Може, останешься?

– Шутишь?

– Шучу, натуралнье.

– Жаль, что шутишь. Думал, ты по-настоящему хочешь, чтобы я остался.

– По-настоящему хочу, – эхом отозвалась она.

Когда влюблённые говорят друг с другом, со стороны кажется, что парочка какую-то бессмыслицу несёт. На самом деле, в диалоге их не суть произнесённого важна, а интонация, чувство, окрашивающие каждое слово, как в песне, каждая нота главенствует, а не слово. Хорошую песню и насвистеть можно, и намурлыкать бессловесно.

Надо было шевелиться. Я сказал «спасибо» и поцеловал хозяйку в щёку. Да вот, утром решился, потому что утренний поцелуй отличается от вечернего. Он по-детски целомудрен и безгрешен. Она опустила глаза, поправила скатерть и протянула мне пакет на плетёных ручках:

– Это гостинец тебе на drogу.

Я заглянул в пакет, там покоились сдобные булочки, конфеты, баночка мёда и платочек, вышитый нитками мулине.

Я как-то застеснялся.

– Возьми, возьми, Вагиза угостишь. – Она принялась прибирать со стола. – Сейчас карету подам.

Собравшись, я выглядел следующим образом: под мышками костыли, на одной ноге сапог, другая нога в одном носке поджата – не пригодилась калоша. Ни сумы с банками-склянками, ни телефонной трубки, ни фуражки – всё потеряно. Только штык-нож остался на поясе. И это важно, всё-таки оружие солдату терять нельзя.

В «карете» мы разместились втроем – Иренка, я и бидон с молоком, который, оказываясь, рано утром помог погрузить всё тот же пан Кшиштоф.

Гнедая шла резво, помахивая хвостом и посыпая дорогу свежими «яблоками».

– Как её звать-то? – кивал я на лошадку. – А то останемся не познакомившимися.

– Выход, – отвечала Иренка.

– Выход, значит?

– Та... А ещё – и Восток.

Первую часть пути мы беспрестанно болтали, а ближе к границе замолчали, нам сделалось грустно. Шлагбаум был поднят, и под его крылом, увешанным сетями и предупредительными дорожными знаками, в сторону Польши двигалась с поочерёдными остановками колонна легковых автомобилей. В другую сторону машин не было.

У шлагбаума нас уже ждали «грузчики» – Вагиз Шакиров и Черёмуха. Поодаль в «газике» – Вовка Абрамов.

– О, возвращение блудного сына! – воскликнул Черёмуха, увидав на повозке пассажира с костылями наизготовку. – А тебя уже особист на заставе дожидается.

Вагиз, в отличие от язвительного сослуживца, радостно произнёс:

– Наконец-то?! – И помог мне сойти с повозки. – А я уж не знал, что и подумать. Пропал и всё! Целые сутки ни слуху, ни духу. Думали, может, молнией ударило. «Тревожка» весь фланг облазила в поисках тебя. Ладно, жив хоть!

– Жив-жив, – как можно безразличнее, произнёс я и закостылял к проходу у капэпэшной будки. Ребята сняли с повозки бидон с молоком, понесли к машине. Я обернулся к Иренке, протянул костыли: заberi, мол. Она спорхнула с повозки, подбежала:

– Гостинец забыл! – Сунула мне в руки пакет, часто-часто заморгала, её белёсые ресницы стали влажными и потемнели. – До свиданья, сержант!

– До свидания, Иренка!

– Сразу напиши, ладно?

– Обязательно напишу!

Выходит, она почувствовала, что на заставе меня не оставят (конечно, здесь же не было ни госпиталя, ни санчасти), поняла, что я больше не приду к шлагбауму за молоком...

Потом Иренка неожиданно и беззастенчиво обняла меня, поцеловала в мои пересохшие губы и побежала обратно к повозке.

– А костыли... Костыли-то заberi!

– Оставь пока себе.

– Спасибо! – Мне особенно понравилось слово «пока». Значит, я должен вернуть их? Выходит, опять увидимся. Слово-то у неё – олово.

* * *

Первый допрос «дезертиру» сразу по прибытии его на заставу учинил офицер особого отдела, толстопузый, с маленькими, дамскими ручонками мужичишка в новеньких погонах майора на узеньких плечах. Не буду описывать все его «зачем?» да «почему?» – ничего интересного. Впрочем, одна ветвь «собеседования» мне запомнилась почти дословно и считаю уместным его здесь привести. Майор понимал, что перед ним не шпион какой-нибудь, не агент-007 и поэтому начал разговор как-то даже вяло, без интереса, но в один из моментов вдруг хлопнул своей кукольной ручонкой по столу:

– Завёл, понимаешь, шашни с гражданкой сопредельного государства!

– Не шашни вовсе... – пытался возразить я.

– Ну, ну... – криво усмехнулся он. – Любовь, может, ещё скажешь! Один так за свою любовь, тоже, кстати, к полячке, отчизну предал. Отец родной потом его за это расстрелял самолично.

Особист оказался человеком образованным, «Тараса Бульбу» читал и, получается, для него казачий атаман, убивший сына, был во всём прав.

– Это вы об Андрее Бульбе? – уточнил я.

– О ком же ещё!

– Но он в повести, на мой взгляд, самый честный и красивый образ. Для него панночка и была отчизной.

– Одним миром мазаны, – заключил майор. – К стенке, правда, тебя не поставят, но за самоволку с незаконным пересечением границы впаяют по полной...

– Но никакой самоволки не было.

– А что тогда было?

– Буря, потеря ориентиров...

– Да уж, с ориентирами у тебя туго не только в географическом плане! – остроумно заметил майор.

Я понимал логику военного следователя. Профессия, должность обязывали... Но я не понимал, откуда он всё так подробно и оперативно знает – и про коробку с книгами, и про моё «путешествие», и про Иренку...

В тот же день, после обеда, майор этот, при поддержке конвоира-автоматчика, этапировал меня на «газике» в Калининград, в штаб отряда, где с меня были сняты показания о моём правонарушении и начали решать, на какую губу⁴ меня запичужить, под какой трибунал отдать. За меня вступился командир отряда, полковник Сулов. Он сказал, «дезертира» надо сначала полечить. И меня отправили в санчасть, находившуюся рядом со штабом. Таким образом, оказался я один в отдельной палате второго этажа санчасти, у двери которой дежурил часовой с «калашом» на груди. Да куда это я на одной ноге убежал бы?! Диагноз моей травмы – растяжение голеностопного сустава. Лечил меня лейтенант, военврач по фамилии Худяков. Скажу уж в память о нём: мы с ним нашли общий язык на тему далеко не кислых щей. Открывая дверь палаты, он весело восклицал:

Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Подолгу сживал он у меня, беседуя об отвлечённом, высоком, красивом. Даже угостил как-то поздним вечером болгарским коньяком «Pliska». А однажды днём пришёл в палату с незнакомым подполковником и, кивая на меня, сказал:

– Вот он, кого вы ищете.

– Хорошо, – ответил важный гость.

Это был ответственный секретарь газеты «Наш пограничник», подполковник Барсуков, коренастый, крепко сбитый мужик с фотоаппаратом на груди. Оказывается, очерк мой о Вагизе Шакирове подготовили к печати, и не сегодня-завтра он должен был быть опубликован. Гость присел на стул у моей кровати:

– И как нога?

– Заметно лучше, товарищ подполковник. Врачи у нас что надо!

⁴ Губа (армейский жаргон) – гауптвахта.

– Твой очерк нам понравился, – начал он. – Не хочешь ли поехать на стажировку в редакцию нашей газеты?

– Я же военный преступник, – усмехнулся я невесело в ответ. – Вы видели часового у двери палаты? Это меня стерегут, чтобы не сбежал.

– Наслышан, наслышан... Но это уже наша забота, разберёмся, – положил он свою огромную ладонь на мою руку. И стал расспрашивать о частностях моей жизни – кто родители? где научился рисовать? кем мечтаю быть?

Я ответил, что хочу стать писателем, а для этого хорошо бы пройти журналистскую школу. Думаю у себя в Казани в университет поступить, на журфак. Это я Катаева начитался, который советовал будущим писателям поработать газетчиками. После стыдно было – раздухарился, писателем себя возомнил. От стажировки же в редакции, естественно, не отказался. Подполковник сказал, что скоро меня вызовут... На прощание сфотографировал у окна крупным планом, без «костяной» ноги, пожелал скорейшего выздоровления и, тяжело ступая в своих сапожищах, удалился. Через полчаса охрану мою сняли. Что потом? А потом всё было как по нотам. И стажировка в редакции на улице Владимирской славного города Киева, и предложение остаться там на сверхсрочную службу, и дембель из войсковой части, где был прописан, и учёба в университете родного города, и работа в редакции молодёжной газеты, и т. д., и т. п.

А слово, данное Иренке, я сдержал. В первый же вечер в санчасти написал большое письмо, в котором высказал всё, что постеснялся сказать напрямую. Даже небольшое стихотворение посвятил ей и рисуночек набросал штриховой, где изобразил её с гитарой на груди и с ангельскими крылышками за спиной. Только вот адреса не нашёл. Искал, искал и вспомнил, что спрятал сложенный вчетверо листок с её координатами в нагрудном кармане белой рубахи пана Милоша. Спрятал и позабыл там.

Сколько лет прошло с тех пор! Я давно женат, у меня – дети, внуки... А Иренка не оставляет меня в покое, видится в видениях днём, снится во снах по ночам, будто сижу я после бури у ветвистого дуба, а она подходит и спрашивает: «Почему же не написал мне письма, почему не приехал после армии? Или забыл сразу, как покинул заставу?»

Нет, Иренка, не забыл я тебя. Ох, как помню! И пшеничные пряди твои, и взгляд светло-бирюзовых глаз, и твоё мягкое «та», и ласковое «нье», и голос твой журчащий под гитару и без... Но почему не поехал к тебе, когда отслужил в армии, ответить не могу. Ни ответить, ни оправдать, ни даже внятно объяснить себе.

Такая вот история приключилась в моей жизни, о которой я раньше никому не рассказывал. Носил в себе... А теперь вот сел за письменный стол, и всё неожиданно выплеснулось. И как-то легче стало на душе. Ведь самый внимательный и понимающий тебя собеседник – это чистый лист бумаги под твоим пером.

2016

Миссия

1

С детских лет он задавался вопросом правильности еды, поступков, всяких сколь-нибудь значимых действий. Мама давала ему на завтрак манную кашу, а он спрашивал, полезна ли она. Ещё на втором году обучения в школе он высказался, что парты в классе поставлены неправильно.

– Свет из окна падает с правой стороны, а ребята все у нас правши, и это вредно для зрения.

Протест свой он заявил на родительском собрании, которое проходило в воспитательных целях вместе с детьми. Родители бурно поддержали его, и в течение осенних каникул класс был переоборудован, парты развёрнуты правильной стороной к дневному свету.

Сулейман учился хорошо, особенно успешно по математике, физике, химии. В седьмом классе стал даже победителем городской математической олимпиады.

В финале следующей олимпиады его, как он сказал друзьям, прокатили. Больше в состязании Пифагоров он не участвовал. Учителя шипели на него, а друзья поддержали: правильно делаешь!

В друзьях у него ходили Стас Лыков, Рустик Харисов и Генка Кузьмин. На местном наречии: Лыко, Харя и Кузя. Но Сулейман всегда всех звал по имени. Мальчишки как мальчишки. Гоняли на школьном дворе футбол, рыбачили на Волге или петляющей за микрорайоном Казанке... Хотя «панели», как называли их район крупнопанельных домов в городе, микроскопическим именовать было не совсем верно. Это был, можно сказать, город в городе – со школами, детсадами, магазинами, баней, военкоматом, разместившимся в старинной, обезглавленной церкви, Дворцом культуры, парком «Сосновая роща» и рестораном с одноимённым названием рядышком.

...Мальчишки как мальчишки, да не совсем обычные. В «панелях» среди подростков складывалась своя система взаимоотношений, своя иерархия, своя шкала ценностей. И верховодить здесь начинал предприимчивый и бесстрашный Лыко. Он был умён каким-то своим, вне школьных программ, умом и, несмотря на, в общем-то, не выдающуюся статью, был крепок и силен.

Харя был поздоровее, повыше ростом, совершенно не сдержан, что привело его к раннему знакомству с блюстителями правопорядка. После восьмого класса он ушёл из школы, поступил в строительный техникум, но от складывающейся команды Лыка не отделился, напротив – со Стасом Лыковым он сделался вообще не разлей вода.



Кузя был всегда при них. Тихий, не особо выделяющийся среди разухабистой братии, он отличался начитанностью, хорошо разбирался в технике, к восьмому классу у него появился мотоцикл, а к десятому – «тачка», что придавало ему особую значимость. Машина, правда, была не премиум класса... Собрал её практически сам, по частям, на основе отечественной «девятки», но на дорогах среди блестящих лаком и металликой авто Кузя со своими неизменными пассажирами чувствовали себя героями «Трёх товарищей» Ремарка.

Со всеми ими пай-мальчик Сулейман имел общий язык, шагал вместе... не так, чтобы в ногу, но по каким-то общим в их возрасте тропам. Юность сближает, юность сглаживает противоречия интересов, которые со временем расходятся, как плавучие острова.

Во время закручивания гаек и репрессий со стороны беспощадной математички ребята приходили к нему за помощью. Сулейман щёлкал задачи, как орешки, объяснял, пояснял... Улица улицей, а школу всё-таки надо было заканчивать. За помощью к нему прибегал из техникума со своим сопроматом и Рустик Харисов.

В десятом классе окончательно стало ясно: Лыков пойдёт поступать на юрфак университета, Кузьмин – в авиационный институт, а Сулейман – в финансово-экономический, что гнезвился на горе в центре города.

– А я буду строить вам всем гаражи под ваши «мерсы», – смеялся будущий строитель Руст Харисов.

Частенько ребята называли Сулеймана Сулеймэном. А порой и просто Мэном. Это краткое обращение говорило о многом.

Сулейман легко поступил в намеченный вуз и закончил его с красным дипломом. Его взяли в банковскую систему на хорошую должность. Но скоро банк лопнул, и дипломированный Пифагор оказался на улице.

Он жил с больной матерью на первом этаже «панельки» в двухкомнатной квартире. Работы не было, но была пенсия у матери и масса свободного времени. Как говорится, нет худа без добра. Сулейман засел писать научный труд по своей любимой математике, идею которого вынашивал ещё со школьной скамьи. В быту он был неприхотлив, в еде сдержан, не прожорлив, на судьбу не жаловался.

Друзья не заставили себя долго ждать, заявились как-то под вечер «шумною толпою». Все трое – Лыко, Харя, Кузя. К тому времени дела их устремились в гору. Руст Харисов, и в самом деле, построил для «мерсов» своих друзей гаражи, заканчивал возводить среди низкорослых «панелей» элитную высотку; Кузя окончил авиационный институт, но по профессии не пошёл, разъезжал по неведомым делам на своём чёрном мерседесе, который стоял теперь под окнами Сулеймана; Лыко с юрфаком не справился, был отчислен со второго курса, зато осуществил мечту – стал своеобразным Аль Капоне «панелей». Все были семейными, не чета Сулейману. В армии успел отслужить только Харя.

– Хватит тебе прозябать! – сказал Лыко, вытаскивая из пакета бутылку коньяка.

– Я не прозябаю, – ответил Сулейман. – Пишу вот интересную вещь.

– Нобеля решил за неё заработать?

– Математикам Нобеля не дают.

– Слава Пелермана затерзала? – пошутил образованный Кузя.

– А чем чёрт не шутит! – хмыкнул Харя. – Наш Мэн ведь – го-ло-ва!

– Ближе к делу, – прервал остряков Лыко и изложил цель визита.

Сулейману предлагалось стать главным казначеем «панелей», как именовалась их группировка в городе.

– Не просто казначеем, – пояснил Лыко, – а главным экономистом сообщества.

– ОПГ⁵, – поправил Сулейман.

– При чём тут преступность? Смотри, какую созидательную работу мы ведём в районе: детскую площадку построили, какой в городе больше нет, детсад капитально отремонтировали, жилой дом возвели, инвалидам помогаем...

– Вдовам наших погибших ребят пенсион выдаём, – добавил Харя.

– Вот-вот!.. – воскликнул Сулейман. – Я же говорю...

Лыко зыркнул на Харю и продолжил:

⁵ ОПГ – организованная преступная группа.

– Разное бывало по молодости, Мэн. Но сейчас остепенились, и всё у нас легально. Просто мы строим работу без помощи государства, вне его, на конкурентной основе, так сказать. И у нас – люди ж видят! – получается. Вон вчера новостройку нашу по телевизору показали. Но возникла вот проблема с научной организацией нашей экономики. А ты финансово-экономический закончил, у тебя котелок варит – будь здоров! И мы друг друга знаем как облупленных. С пелёнок, можно сказать. Всегда были вместе, так продолжим!..

– И никогда друг друга не подводили, – добавил Кузя. – Чего бояться-то и сидеть тут, как пескарь в норе под водой!

– Квартиру получишь в новом доме, – поддержал разговор Харя. – Четырёхкомнатную, с видом на Волгу.

– Зачем мне такая большая? – пожал плечами Сулейман.

– Дык, не всю ж свою жизнь в бобылях собрался провести! – Харя по-братски взял Сулеймана за плечо. – Женишься, детишки пойдут. Да и Розе Касимовне свежий воздух нужен. А ты тут, на первом этаже, её астматические лёгкие маринуешь в сырости. В вашем подъезде всю дорогу пар валит из подвала, как в бане из парной! Вон в ванной, там же у твоего корыта ножки прогнили от сырости и отвалились. Кирпичами подменил, да? А лёгкие-то не подменишь!

Бутылку в тесной кухоньке опорожнили. Втроём. Сулейман отказался. Ему надо было писать свой труд. Да и вообще, он был не любитель этого самого... На прощание Лыко сказал:

– Мы не торопим, поверь своей алгеброй наше предложение, с Розой Касимовной посоветуйся. Мать-то... она худого не посоветует. А зарплату себе сам назначишь. Исходя из общего бюджета. У нас всё по-человечески и прозрачно.

Харя как всегда добавил своё лыко в строку:

– Всё по твоим стандартам, Мэн: правильно и полезно. Полезно для всех жителей нашего городка.

Через две недели в «панелях» появился новый казначей, молодой мужчина, выше среднего роста, сутулый, с неизменным, времён царя Гороха, портфелем под мышкой. Была у Сулеймана такая привычка – носить портфель особым образом, ещё со школьной скамьи. В широких кругах района он был практически неизвестен, но это для его новой должности даже к лучшему.

Казначейская группа расквартировалась на первом этаже готовящейся к сдаче высотки. Хозяин стройки Харя теперь всё чаще оказывался рядом с Сулейманом.

Можно было подумать иногда, что он телохранитель казначея.

С новыми обязанностями своими Сулейман разобрался без особых затруднений. Единственным недостатком в его работе было то, что он относился к ней без учёта всяческой безопасности, будто обслуживал стройтрест, а не всё-таки, верти не верти, криминальную структуру. Лыко делал ему замечания, выговаривал членам прикрытия, но те не поспевали за стремительными шагами Мэна.

В первой половине декабря возвращались из банка. За рулём «бумера» Сулейман, рядом Харя, на заднем сидении – портфель, набитый купюрами. Харя был слегка с похмелья и попросил притормозить у кафе «Виктория», буквально в ста метрах от банка.

– Забегу, пропущу рюмочку, – сказал он. – А то голова не на месте.

В последнее время Харя всё чаще подпитывал себя алкоголем и даже заряжал свои ноздри порошками, понюшки которых искусно прятал в «пистончиках» своей одежды. Сулейман предупреждал его, что до добра это не доведёт. Тот соглашался и продолжал, по его словам, снимать стрессы.

Харя скрылся за дверями «Виктории», а Сулейман вылез из машины и пошёл посмотреть на заднее колесо, которое стало подозрительно постукивать. Так и есть, шина заметно сдулась. Сулейман присел у колеса... На крышке красовалась «липучка», специальное приспособление, которое при движении автомобиля выбрасывало остриё жала.

– Не было печали! – произнёс было Сулейман, как страшной силы удар обрушился на его голову, и весь белый свет погрузился во мрак.

2

Марфа в город приехала из деревни. Ей исполнилось восемнадцать лет, и она хотела поступить в медицинский институт. Экзамены сдала, но не прошла по конкурсу. Домой возвращаться не хотела ни в какую. Там отчим, вечно пьяный, хоть выжимай. К тому же пристаёт. Как-то в дровянике прижал к поленице, полез под юбку... Да Божий глаз всевидящ! С верхотуры вдруг посыпались поленья. Её чудом не задели, а его нещадно побили. Матушка отпавала мужа лечебными травами, компрессы ставила... А он, когда жена отлучалась, шипел:

– Ничё, Марфа-посадница, ты у меня ещё попляшешь!

И демонстрировал пальцами непристойные знаки.

С какой стати «посадница-то»? Слышал, видать, звон, да... не знал истории он, был необразован, подрабатывал топором и рубанком по близлежащим деревням и каждый божий день к вечеру напивался. Всё хозяйство лежало на плечах матушки с ней. Гнать бы алкаша взашей, да нет, держалась мать за него, как за опору какую. А про поползновения муженька к дочери не ведала.

В городе Марфа устроилась работать в ресторане «Сосновая роша». Была сперва посудомойкой, потом и гардеробом заведовала, и курьером бегала... В «панелях» нашёлся для неё жилой угол – у одинокой старушки.

Однажды Лыко подозвал девушку и сказал:

– Ты же в медицинский поступала...

Та утвердительно кивнула.

– Целителем хотела стать?

Марфа опустила голову.

– Так вот, – продолжил он, – не хочешь ли получить настоящую практику в большой хорошей больнице? У нас там из реанимации в палату перевели одного нашего друга и надо за ним поухаживать, помочь на ноги встать.

Она ответила согласием.

У Лыка был намётанный глаз. Он сразу понял, что лучшей сиделки для Сулеймана не найдёшь. Роза Касимовна? За ней самой нужен был уход. Она могла только изредка навещать сына.

С чем столкнулась Марфа в больнице, пером не описать. В одноместной палате нейрохирургии, куда поместили Сулеймана, она дневала и ночевала. Благо, для сиделки там была предусмотрена кровать. Но пользоваться ею почти не приходилось. Ночью пациент не спал, он постоянно порывался уйти домой, бежать в какое-то поле... Самого ноги не держали. Нёс откровенную бредятину, не связанную с его реальной жизнью. Разумных слов не понимал. Вначале его привязывали к кровати, позже Марфе приходилось применять физическую силу, бороться в прямом смысле слова. Ребята порой подменяли её, но после первой же ночи, полной единоборства, ретировались – подыскивали себе на будущее замену. Непосильно было не физическое его сдерживание в специальной кровати с невысокими заградительными решётками по бокам, а безостановочный поток бессмыслицы, от которого мог любой с ума сойти.

Не подлежит описанию, как Марфа кормила его из ложечки, как служила подпоркой, когда он волочил непослушные ноги свои вдоль стен с перилами, каких усилий – не грех сказать! – стоило пробить каменную пробку, образовавшуюся от длительного застоя кишечника... Да не перечислить всего того, что вдруг взялось, казалось бы, ниоткуда!

Доктор Иван Иванович Калинин сказал простым, доходчивым языком:

– Травма у Сулеймана серьёзная. Трещина черепной коробки от затылка до лба. – И добавил: – Организм молодой, будем надеяться. Время и терпение, время и терпение... А мы тут делаем всё возможное.

Время шло, неделя за неделей, и казалось, что он никогда уж в себя не придёт. Да, понимал команды: открой рот, поработай кулачком перед уколом, не шевелись – систему ставим... Но в то же время продолжал такие фантазии выдавать в своих длительных монологах, никакой профессиональный сочинитель не перекроет.

Однако на исходе четвёртой недели он вдруг заговорил осмысленно.

– Ты кто? – спросил он.

– Я Марфа, – ответила Марфа.

– Может, Марфуга⁶?

– Нет, Марфа. Сиделкой около тебя сижу. А ты в больнице находишься.

– Это я знаю, что в больнице. А где мама?

– Она дома. Вчерась только у тебя была.

– Вчера?

– Да, да, вчерась.

– А сегодня какое число?

– Пятый день января сёдня.

– Что... уже Новый год наступил?

– Наступил. Мы его с вами вдвоём отпраздновали.

– Каким образом?

– Я вас отпустила. Шагнула к столу, чтобы соку налить, а вы у меня за спиной через заграждение уже успели перелезть и упали на пол.

– Да?

– И нос разбили. Я на переносицу пакет йогурту из холодильника прикладывала, кой-как кровь остановилась.

– Значит, проводили старый год?

– Ох, проводили, проклятый!

Больше Сулейман ни о чём не расспрашивал. Закрыв глаза, переваривал услышанное.

Уже к вечеру прибежали Лыко с Кузей, извещённые, что Сулейман оклемался. Радости своей они не скрывали. Шутили, хохмили... Но когда Сулейман спросил: «А где Рустик?», друзья разом присмирели.

– Рустик? – переспросил Лыко и после паузы ответил. – Рустик наш в командировке.

Скоро Сулеймана перевели в реабилитационный центр. В том же здании, только этажом ниже. Марфа последовала за ним. Там они крутили педали на велотренажёре, наматывали километры на самодвижущейся беговой дорожке, решали головоломки, читали вслух книги... После полного курса его выписали домой, и она опять последовала за ним. В его новую квартиру.

Продолжить восстановительную работу настоятельно попросил Лыко. Но главное, позвал её к себе Сулейман.

Марфа была привлекательна своей неброской красотой, как наша скромная природа на Средней Волге.

У нас нет Альпийских гор, мексиканских пальм и пляжей, но наши берёзовые роши, бескрайние поля и речные дали будят в нас не пылкую, но спокойную и верную любовь.

Роза Касимовна приняла Марфу благосклонно. Небольшого росточка, безропотная, бывший библиотечный работник, она была благодарна ей – так ухаживать за сыном она и в моло-

⁶ Марфуга – татарское имя. Означает нечто высшее.

дые годы не смогла бы. Кстати, Харя как в воду глядел, астма у ней на новой квартире пошла в отступление, на двенадцатом этаже дышалось легче.

С работой главного казначея не торопили, и он опять принялся за свой математический труд. Корпел и днём и ночью. Скоро закончил его, и они с Марфой отвезли работу в университет. Ничего не делать Сулейман не мог и стал потихоньку спускаться на первый этаж, к себе в кабинет, который до его возвращения был запечатан. В былые обязанности он стал втягиваться постепенно – придёт, что-то спросит, что-то полистает... Но однажды столкнулся с Лыковым, тот собрал всех и объявил о полном возвращении главного казначея.

Работа у него пошла на полную катушку, будто и не было длительной отлучки. Одно не мог простить себе: зачем отпустил тогда Рустика Харисова в кафе «Виктория»! Был Сулейман человеком непьющим, а на могиле одноклассника и друга за упокой его мятежной души опорожнил гранёную стограммовку досуха. Со временем память восстановила все детали той злосчастной поездки в банк. А Лыко с Кузей дописали картину полностью: портфель с деньгами, гады, забрали, выбежавшего из кафе Харю застрелили. Кто это сделал? Какая разница! Их нашли и наказали.

Без Марфы-то ничего не получилось бы у Сулеймана. Правда, она не раз повторяла, что Всевышний отпускает испытания в меру сил человеческих. А как же Руст Харисов? А это уже, по её утверждению, промысел дьявола.

Она верила в Бога, поставила в углу своей комнаты на тумбочку иконку и жизнь свою строила праведно. Все поступки её были выверены и не противоречили взятым на душу безусловным канонам.

Её правильность Сулейману была по душе, он считал Марфу выше и чище себя. Но вот набожность сместила. Он уважал её духовный выбор, называл себя сочувствующим, но в Бога не верующим. Нередко он подшучивал над ней. Раз завёл, как бы размышляя вслух:

– Вот Библия... И сказал там Бог: да будут светила на тверди небесной... На какой это тверди? Можешь объяснить? Или вот на одной странице пишется: Бог сотворил человека по образу своему – мужчину и женщину. Благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...» А на другой размещает мужчину в раю, создаёт из его ребра женщину и за послушание – отвели с дерева познания запретный плод – изгоняет обоих из рая. Какой же странице верить?

Не получив ответа, Сулейман продолжал:

– То не убий, то око за око. Или вот... Всех дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет. Чуть-чуть парень до тысячелетия не дотянул! Это, конечно, хорошо. Но ведь Господь сожалел, что вызвал к жизни человека на земле, и сказал: истреблю с лица земли человек, которых сотворил... ибо раскаялся, что создал их.

– Что, прям так и написано? – усомнилась Марфа.

– Почти дословно, – ответил Сулейман. – И после этого он милосерден?

Марфа не нашлась, что сказать.

– Ты сама-то читала Библию?

– Начинала... Да заплуталась, помнится, быстро. Больно густо там всё. Как в лесу. Не раз заходила, но...

– Согласен, – не дождался конца фразы Сулейман, – непростое это чтение. Но как верить, если не знать?

А если знать, трудно поверить. Павлова спросили: верит ли он в Бога? И великий учёный сказал: «Я окончил духовную семинарию, и как после неё могу верить?» Знания и вера плохо уживаются.

– А я верую, пускай и не шибко грамотна.

– На том вера и зиждется, дорогая! Ты же сама вот своими словами...

– Вера, ежели она настоящая, не нуждается ни в подтверждениях, ни в доказательствах. На то она и вера! Глянь на это звёздное небо, откуда такая красота могла взяться, как не от Господа нашего Бога!

Разговор этот они вели во время вечерней прогулки, на которую Марфа каждый поздний час заставляла выходить своего подопечного. Вся в россыпи звёзд молодая, мартовская ночь лила на землю холодный свет, остужая её от дневной оттепели ранней весны. Меж голых веток тополя застрял студёный серп луны. В воздухе витал дух обновления и надежд, какой бывает только в пору молодости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.